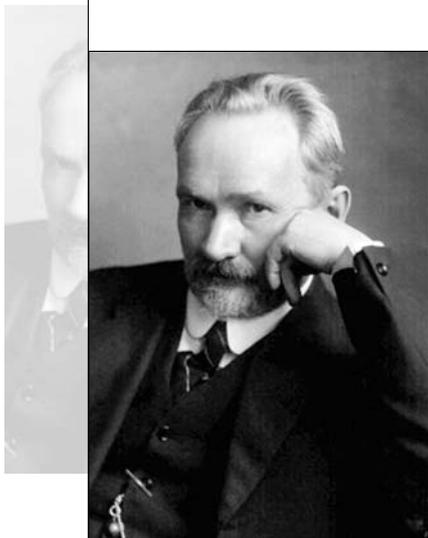


А.С. ПУШКИН



**Василий Васильевич
РОЗАНОВ**
(1856 – 1919)

Удивителен рост значения литературы за последние десятилетия. Выключая имя Толстого, мы не имели за последние 10–15 лет таких сил перед собою, какие имели решительно каждое десятилетие этого века. Но, несмотря на это, поступательный рост внимания к литературе не останавливается. В литературе творится меньшее, слабейшее, но очевидно, вся литература, в целом своём, стала столь ценным явлением, её плоды так ярки и непререкаемы, что недостаток отдельных ярких точек уже не ослабляет общей световой силы её и внимание относится не столько к лицу писателя, сколько к существу слова. Недавно исполнилась 50-летняя годовщина смерти Белинского; теперь — сто лет со дня рождения Пушкина. Какое же имя не литературное и поприще вне литературы найдём мы, которое пробудило бы вокруг себя у нас столько духовного и даже физического движения. Наступило время, что всякое имя в России есть более частное имя, нежели имя писателя, и память всякого человека есть более частная и кружковая память, чем память творца слова. Кажется, ещё немного, и литература станет у нас каким-то *ιεροζ λογοζ*, «священною сагою», какие распевались в древней Греции: так много любви около неё и на ней почilo и, верно, так много есть любви в ней самой. Это — огромный факт. Россия получила сосредоточение вне классов, положений, вне грубых материальных фактов своей истории; есть место, где она собрана вся, куда она вся внимает, это — русское слово.

Неудивительно, что место этого сосредоточенного внимания имеет свои святыни. Это не только сила; наоборот, сила этого духовного средоточия русского общества вся и вырастает из того, что оно сумело стать воочию для всех и для всех признанным святым местом. Замечательна в этом отношении оценка многих русских писателей: над гробом многих из них поднимался упорный и продолжительный спор об их так

называемой искренности. Какое было бы дело до этого, если бы литература была у нас только силою или если бы она была только красотою: «прекрасное и мудрое слово» — разве этого недостаточно для бессмертия? Нет, до очевидности нет — у нас: начинаются споры, начинается внимательнейшее посмертное исследование слов писателя, проверяемых его жизнью. Так древние египтяне производили суд над мёртвыми, и мы делаем через 2000 лет то же: с великой беспощадностью мы перетряхиваем прах умершего, чтобы убедиться в такой, казалось бы, литературно-безразличной вещи, как его чистосердечие.

Что же это значит? Что за критический феномен? Мы ищем в писателе, смешно сказать... святого. Томы его сочинений свидетельствуют об образности языка, о пронзительности мысли, о прекрасном стихосложении или благоуханной прозе. И вдруг Аристарх, совершенно нигде невиданный Аристарх замечает или заподозривает: «Да, — но всё это было враньё». Замечание это нигде не обратило бы на себя внимания, потому что не содержит в себе в сущности никакого литературного обвинения, но у нас оно поднимает заново вопрос о писателе, и пока он не решён, место писателя в литературе вовсе не определено: начинается «суд» именно с точки этого специального вопроса, опаснейший у нас суд. И хотя немного, но есть у нас несколько репутаций, пользовавшихся при жизни огромным, непобедимым влиянием, которые, попав уже по смерти на черную доску, умерли разом и окончательно. Чудовищное явление: но оно-то и объясняет, почему у нас литература стала центральным национальным явлением.

Есть свои святыни в этой сфере, свой календарь, свои дорогие могилы и благодарно вспоминаемые рождения. Сегодня — первый вековой юбилей главного светоча нашей литературы. Мы говорим — «первый», потому что не думаем, чтобы когда-нибудь века нашей истории продолжали течь и в надлежащий день «26 мая» не было вспомнено имя Пушкина.

Сказать о нём что-нибудь — необыкновенно трудно; так много было сказано 6 и 7 июня 1880 года, при открытии ему в Москве памятника, и сказано первоклассными русскими умами. То было время золотых речей: нужно было преодолеть и победить, в два дня победить, тянувшееся двадцать лет отчуждение от поэта и непонимание поэта. Ясно, почему битва была так горяча и блистательна, победа — так великолепна. Что нам остаётся сказать теперь? Увы, всё золото мысли и слов исчерпано и приходится или вновь сковать несколько жалких медяков, или лучше подвести скромно итог тогда сказанному, без претензий на оригинальность и новизну. Так и поступим.

Пушкин — национальный поэт, вот что многообразно было утверждено тогда. Что значит «национальный поэт»? Разве им не был Кольцов? Почему же мы усиленно придаём это определение Пушкину, не всегда прибавляя его к имени Кольцова? Он не был только русским по духу, как Кольцов, но русскому духу он возвратил свободу и дал ему верховное в литературе положение, чего не мог сделать Кольцов и по условиям образования своего, и по размеру сил. Можно быть свободным и независимым — по необразованности; можно сохранить полную оригинальность

творчества, не имея перед собою образцов или чураясь образцов, зажмуривая перед ними глаза. Этою мудростью страуса, прячущего перед охотником голову под крыло, грешили и грешат многие из нас, иногда грешили славянофилы: они не смотрели (повторяю — иногда) на Европу и тем побеждали её, избегая соблазнительного заражения. Отождествляя Европу с Петербургом, Ив. Аксаков говаривал: «Нужно стать к Петербургу спиною». Ну, и прекрасно, — для Европы и для Петербурга; но что же специально приятного или полезного получалось для такого стоятеля? Проигрыш, просчёт; а что касается до сил, — то и яркое признание их незначительности. Вот почему было много «руссизма» в славянофилах, но никогда они не сумели сделать свою доктрину центральным национальным явлением. Пушкин не только сам возвысился до национальности, но и всю русскую литературу вернул к национальности, потому что он начал с молитвы Европе, потому что он каждый темп этой молитвы выдерживал так долго и чистосердечно, как был в силах: и всё-таки на конце этой длинной и усердной молитвы мы видим обыкновенного русского человека, типичного русского человека. В нём, в его судьбе, в его биографии совершилось почти явление природы: так оно естественно текло, так чуждо было преднамеренности. Парни, Андре Шенье, Шатобриан; одновременно с Парни для сердца — Вольтер для ума; затем Байрон и, наконец, Мольер и Шекспир прошли по нему, но не имели силы оставить его в своих оковах, которых, однако, он не разбивал, которых даже не усиливался снять. Всё сошло само собою: остался русский человек, но уже богатый всемирным просвещением, уже узнавший сладость молитвы перед другими чужеродными богами. Биография его удивительно цельна и едина: никаких чрезвычайных переломов в развитии мы в нём не наблюдаем. Скорее он походит на удивительный луг, засеянный разными семенами и разновременного всхода, которые, поднимаясь, дают в одном месяце одно сочетание цветов и такой же общий рисунок; в следующий месяц — другой и т.д.; или, пожалуй, — на старинные дорогие ковры, которые под действием времени изменяют свой цвет, и чем долее, чем позднее, тем становятся прекраснее. Да в стихотворении «Художник-варвар кистью сонной» — он сам так и определил себя. Тут только не верно слово «варвар»: напротив, душу Пушкина чертили великие гении и его создания, его «молитвы» перед ними сохраняют и до сих пор удивительную красоту и всю цену настоящих художественных творений. Без этого Пушкин не был бы Пушкиным и вовсе не сделался бы творцом нашей оригинальности и самобытности. Посмотрите, как он припоминает эти, чуждые на себе краски, уже свободный от них, когда уже спала с него их «ветхая чешуя». Как глубоко сознательно он относится к богам, когда-то владевшим его душою. Он начинает с Вольтера, когда-то любимца своего, коего «Генриаду» он предпочитал всем сладким вымыслам:



...циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Своё владычество на Севере любя, —
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой весёлости он расточал избыток,
Ты леть его вкусил, земных богов напитков.



Ж.-Л. Давид.
Портрет Марии-
Антуанетты,
которую везут на
гильотину.
1793 год

Какая точность! Какое понимание человека и писателя! Что нового прибавил к этим шести строкам в своей блестящей характеристике Вольтера Карлейль? Ничего, ни одной черты, которая не была бы здесь вписана. Но человека можно понимать только в обстановке:

...увидел ты Версаль;
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало всё... Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена.

Как многое достигнуто одною заменой имени Марии-Антуанетты греческим: «Армида». Гениально поставленное слово воскрешает в вас разом «Сады» Де-Лиля, весь ложный классицизм, полусмененный пасторалью, когда придворные дамы, читая Феокрита, неудержимо разводили своих коров и навевали лучшие сны юному ещё Жан-Жаку.

Ты помнишь Трианон и шумные забавы?
Но ты не изнемог от сладкой их отравы;
Ученье делалось на время твой кумир;
Уединялся ты. За твой суровый пир
То читатель промысла, то скептик, то безбожник
Садился Дидерот на шаткий свой треножник.
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту
Как любопытный скиф афинскому софисту.

Тут опять мы припоминаем «Путешествие молодого Анахарсиса», которым на Западе и у нас зачитывались в XVIII веке. Замену «Дидеро» — «Дидеротом», как писалось это имя в екатерининскую эпоху, новой пушкинской странице вдруг сообщается колорит времён Богдановича, Княжнина, Сумарокова. У Пушкина повсюду в исторических припоминаниях есть это удивительное искусство воскрешать прошлое, и помощью самых незаметных средств: он поставит, например, неупотребительное уже в его время «афей», и точно вы находите в книге новой печати старый засохший цветок, екатерининский цветок, и чувствуете аромат всей эпохи.

Скучая, может быть...
Ты думал дале плыть. Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Весёлый Бомарше блеснул перед тобою.
Он угадал тебя: в пленительных словах
Он стал рассказывать о ножках, о глазах,

О неге той страны, где небо вечно ясно;
Где жизнь ленивая проходит сладострастно.
Как пылкий отрока, восторгов полный, сон;
Где жёны вечером выходят на балкон,
Глядят и, не страшась ревнивого испанца,
С улыбкой слушают и манят иностранца.

Опять какая точность! «Блеснул»... Действительно, при огромном значении, Фигаро Бомарше не имеет вовсе в истории литературы такого фундаментально-седалищного положения, как, например, Дидеро или даже как Бернарден де Сен-Пьер: какой-то эпизод, быстро сгоревшая магниева лента, вдруг осветившая Франции её самое, но и затем моментально потухшая, прежде всего по пустоте Фигаро-автора.



И ты, встревоженный, в Севиллу полетел.
Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют...
О, расскажи ж ты мне, как жёны там умеют
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;
Скажи, как падает письмо из-за решётки,
Как златом усыплён надзор утрюмой тётки;
Скажи, как в двадцать лет любовник под окном
Трепещет и кипит, окутанный плащом.

И опять тут тон, краски и определения прекрасного гейневского стихотворения «Исповедь испанской королевы»:

Искони твердят испанцы:
«В кастаньеты громко брякать,
Под ножом вести интригу
Да на исповеди плакать —
Три блаженства только в свете».

Пушкин продолжает, — и какая, без перемены стихосложения перемена тона:

Всё изменилось. Ты видел вихорь бури.
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон.
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом сменённые забавы.
Преобразился мир при громах новой славы,
Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,



Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доньяне странствует с кладбища на кладбище.
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мнения, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Всё новое кипит, бывшее истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились молодые поколения
Жестоких опытов собирая поздний плод.
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

Какая бездна критики во всём приведённом стихотворении. Ведь это — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно разводимый на сотнях водянистых страниц учёными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо того, чтобы заучить наизусть, упиться и, упиваясь, невольно запомнить эти краткие и вековые строфы!

Но чтобы их написать, разве достаточно волшебю владеть стихом? Нужны были годы развития, сладостная молитва перед этими именами и осторожная от них отчуждённость, основанная на тончайшем вкусе, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь пронырливый и
смелый...

Кто это сказал о Вольтере, уже перерос Вольтера. Так Пушкин вырос из каждого поочерёдно владевшего им гения, — как бабочка вылетает из прежде живой и нужной и затем умирающей и более не нужной куколки. Пушкин оживил для нас Вольтера и Дидеро; заставил вспомнить их, даже их полюбить, когда мы и не помнили уже, и уже не любили их; в его абрисах их нет и тени желчи, как и никакого следа борьбы с побеждённым гением. Это — любовное, любящее оставление, именно, вылет бабочки из недавно соединявшейся с нею в одно тело оболочки, «ветхой чешуи». Ум и сердце Пушкина, как это ни удивительно, как ни странно этому поверить, спокойно переросли столько гениев, всемирных гениев. Факт поразителен, но он точен, и мы точно его формулируем. Никто не отважится утверждать, что в приведённых характеристиках есть неполнота понимания; и никто же де докажет, что можно отчуждаться от гения, поэта или философа, вполне понимаемого, не став с тем вместе и выше его.

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ...»

Таким образом, слова о себе Пушкина, что память о нём и его памятник подымется

...выше Наполеонова столпа,—

не есть преувеличение и даже сравнение взято не искусственно. Пушкин был царственная душа; в том смысле, что, долго ведомый, он поднялся на такую высоту чувств и созерцаний, где над ним уже никто не царил. То же чувство, какое овладело Гумбольдтом, когда он взобрался на высокую точку Кордильер: «Смотря на прибой волн Великого океана, с трудом дыша холодным воздухом, я подумал: никого нет выше меня. С благодарностью к Богу я поднял глаза: надо мной вился кондор» («Космос»).

Сейчас, однако, мы выскажем отрицание о Пушкине. И над ним поднимался простой необразованный прасол Кольцов — в одном определённом отношении, хотя в другом отношении этот простец духа стоял у подошвы Кордильер. Как он заплакал о Пушкине в «Лесе» — этим простым слезам

Что дремучий лес,
Призадумался.
.....
Не осилили тебя сильные,
Так зарезала Осень чёрная

мы можем лучше довериться, чем более великолепному воспоминанию Пушкина о Байроне:

Меж тем как изумлённый мир
На урну Байрона взирает
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает.

До чего тут меньше любви! Есть великолепие широкой мысли, но нет той привязанности, что не умеет развязаться, нет той ограниченности сердца, в силу которой оно не умеет любить многого, и в особенности — любить противоположное, но зато же не угрожает любимому изменою... Пушкин был универсален. Это все замечают в нём, заметил ещё Белинский, заметили даже раньше Белинского непосредственные друзья поэта, назвавшие его «протеем». Но есть во всякой универсальности граница, и на неё мы указываем: это — забвение. Пушкин был богат забвением, и, может быть, более богат, чем это вообще удобно на земле, желательно на земле для её юдоли, но это забвение — гениальное. Он всё восходил в своём развитии; сколько «куколок», умерших трупиков оставил его великолепный полёт; эти смертные остатки, сброшенные им с себя, внушают грусть тем, кто за ним не был в силах следовать. Где же конец полёта? что, наконец, вечно и абсолютно? Атмосфера всё реже и реже:

Ты — Царь. Живи один...

Глазам обыкновенного смертного трудно и тягостно за самого гения следить этот полёт, взор, наконец, отрывается от него — потому-то гениальные люди остаются непонятными для самых близких своих, к своему и их страданию!.. Не та ли тёмная пустота раскрывается перед этим восходящим полётом, которая делает гениальных людей безотчётно сумрачными и, убегая которой, люди, простые люди, так любят жаться на земле друг к другу, оплакивать друг друга, хранить один о другом память; и отсюда вытекли если не самые великолепные, то самые милые людские сказочки и песенки. Отсутствие постоянного и вечно одного и того же составляет неоспоримую черту Пушкина и в особом смысле — слабость его, впрочем, только перед слабейшими на земле. Собственно абсолютным перед нами является только его ум и критическая способность; но тем глубже и ярче выступает временность и слабость перед ним всего, что было на земле предметом его внимания, составило содержание его творений. Нет суженной, но в суженности-то и могучей цели, как нет осязаемо постоянной меры всем вещам, если не назвать её вообще *правду*, вообще *прелесть*: но это — качества, а не имя предмета, как и не название лица или даже убеждения. Пушкин был великий «прельститель», «очарователь», владыко и распорядитель «чар», впрочем, и сам вечно живший под чарами. Но под чарами чего? Тут мы находим непрерывное движение и восхождение, и нет конца, нет и непредвидимо даже завершение восхождения:



...В цепях, в унынии глубоком
О светских радостях стараясь не жалеть,
Ещё надеясь жить, готовясь умереть,
Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком,
Под чёрным куколем, с распятием в руках,
Согбенный старостью беседовал монах.
Старик доказывал страдальцу молодому.
Что смерть и бытие равны одно другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа
И что подлунный мир не стоит ни гроша.
С ним бедный Клавдио печально соглашался,
А в сердце милою Джульеттой занимался.
(«Анджело»)

Какая правда, и вместе какое безмерное любование юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равною красотой, но не с большею правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упразднением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустынники и жёны непорочны,
Чтоб сердцем улетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,



Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой:
«Владыко дней моих, дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи».

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоят сын и отец в «Скупом рыцаре»; входящий к Альберу еврей есть ещё контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Моцарт — в таком же между собою отношении взаимного отрицания. «Египетские ночи», быть может, лучший или, по крайней мере, самый роскошный пример этой манеры Пушкина: петербуржец Чарский, с его мелочной о себе озабоченностью, и скупой и гениальный «импровизатор», так мало усиливающийся скрыть свою жадность к деньгам, и, наконец, — Клеопатра.; далее, если от лиц перейдём и к сценам: петербургский концерт и ночь в Александрии: какие сочетания! Откуда же этот закон у Пушкина, это тяготение его воображения к совмещению на небольшом куске полотна разительных противоположностей: закон прелести и как бы высшего засвидетельствования... о «несотворённом себе кумире». Мир был для Пушкина необозримым пантеоном, полным божеского и богов, однако, везде в контрасте друг с другом, и везде — без вечного, которому-нибудь поклонения. Это и делает абсолютным его, но без абсолютного в нём, кроме одного искания бестрепетной правды во всём, что занимало его ум. Вечный гений — среди преходящих вещей.

«Преходящими вещами» и остались для Пушкина все чужеродные идеалы. Они не отвергнуты, не опрокинуты. Нет, они все стоят на месте, и через поэзию Пушкина исторгают у нас слёзы. Отсюда огромное воспитывающее и образующее значение Пушкина. Это — европейская школа для нас, заменяющая обширное путешествие и обширные библиотеки. Но дело в том, что сам Пушкин не сложил своих костей на чужом кладбище, но, помолившись, вернулся на родину цел и невредим. Надо, особенно, указать, что сказки, его предисловие к «Руслану» и вообще множество русизма относится к очень молодым годам, так что не верно изображать дело так, что вот «с годами он одумался и стал руссачком». Это — слишком простое представление, и неверное. Дело именно заключается в способности его к возрождению в его универсальности и простоте, простоте, всегда ему присущей.

Он ни в чём не был напряжён. И... с Байроном он был Байрон; с Ариной Родионовной — угадчик её души, смиренный записыватель её рассказов; и когда пришлось писать «Историю села Горохина», писал её как подлинный горохинец. Универсален и прост, но всегда и во всём; без швов в себе; без «разочарований» и переломов. В самом деле, не уметь разочаровываться, а уметь только очаровывать — замечательная черта положительности.

* * *

В своих тетрадах, посмертно найденных, он оставил следы критической работы над чужеземными гениями. Замечательную особенность Пушкина составляет то, что у него нельзя рассмотреть, где кончается вдохновение и начинается анализ, где умолк поэт и говорит философ. Отнимите у монолога Скупого рыцаря стихотворную форму, и перед вами платоновское рассуждение о человеческой страсти. У Пушкина не видно никаких швов и сшивок в его духовном образе. Слитность, монолитность — его особенность. Его огромная способность видеть и судить, изумительная и постоянная трезвость головы и помогла ему увидеть или ложное в каждом из владевших им гениев, или — и это гораздо чаще — ограниченное, узкое односторонне-душевное (суждения о Байроне и Мольере).

Он остался, из-под всех сбежавших с него красок, великою русскою душою. Мы упомянули о черновых его набросках, заговорили об его уме: в самом деле, среди современников его, умов значительных и иногда великих, мы не можем назвать ни одного, который был бы так свежо-поучителен для нас и так родствен и душевно-близок. Жуковский пережил Пушкина; Чаадаев был его учителем; Белинский был его моложе: однако все три как архаичны сравнительно с Пушкиным! Как, наконец, архаичны для нас даже корифеи 60-х годов: не враждебны, но именно старомодны. Между тем в публицистических своих заметках, как журналист, как гражданин, Пушкин не испортил бы гармонии, сев между нами как руководитель наш, как спикер сегодняшней словесной палаты. Вот удивительная в нём черта: он не только пожелал освобождения крепостного населения, но в пожелании предугадал и образ этого освобождения:

...по манию царя.

Как глубоки и отвечают современным нам мыслям его замечания в внутреннем управлении в царствование Екатерины II. Или его заметка о речи Николая I на Сенной площади, во время холерных беспорядков, к народу. Державин написал бы по этому поводу оду, Жуковский — элегию, Белинский — восторженную статью, и даже перед фактом оказался бы молод Герцен; Пушкин осторожно оговаривает: «это хорошо раз, но нельзя повторять в другой раз, не рискуя встретить реплику, которая носила бы очень странный вид и на которую не всегда

«Я ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ...»

можно найтись удачно ответить». Это почти речь Каткова, его сухой слог и деловитая осторожность. До Пушкина мы имели в писателях одистов или сатириков, но только в Пушкине созрел гражданин, обыватель, очень прозаических черт, но очень старых, седых, очень нужных. Обращаясь к императору Николаю, он говорил:



Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой он привлёк сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукий,
Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещение.
Семейным сходством будь же горд,
Во всём будь пращуру подобен,
Как он неутомим и твёрд
И памятью, как он, незлобен.

Этой твёрдости и спокойствия тона не было у Жуковского, не было у нервно-капризного Грибоедова. Из этого трезво спокойного настроения его души вытекли внешние хлопоты его об основании журнала: его черновые наброски в самом деле все представляют собою как бы подготовительный материал для журнала; из них некоторые в тоне и содержании суть передовые статьи первоклассного публициста, другие суть критические статьи, и последние всегда большей зрелости и содержательности, чем у Белинского.

Появление «Современника» в формате, сохранившемся до минуты закрытия этого журнала, самым именем своим свидетельствует о крайней жадности Пушкина применить свой трезвый гений к обсуждению и разрешению текущих жизненных вопросов. Так из поэта и философа вырастал и уже вырос гражданин.

У Гёте Фауст, в самом конце второй части, занимается,— да всею душою,— простыми ирригационными работами: проводит канал и осушает поля. Мы знаем, что сам творец «Вертера» и «Фауста» с необыкновенным интересом ушёл в научные изыскания: о теории цветов, о морфологии организмов.

Есть кое-что родственное этому у Пушкина, в этом практицизме его, в журнальных хлопотах, публицистической озабоченности. Укажем здесь один контраст: Достоевский накануне смерти пишет самое громозд-

кое и обильное художественное создание — «Карамазовых», Толстой — стариком создаёт самое скульптурное произведение «Каренину», — Лермонтов — в последние полгода пишет множество и всё лучших стихов. Но просматривая, что именно Пушкин написал в последние 1,5 года жизни, мы видим с удивлением всё деловые работы, без новых поэтических всплесков или концепций. Мы можем думать, что собственно поэтический круг в нём был сомкнут: он рассказал нам все с рождением принесённые им на землю «сны» и по всему вероятно остальная половина его жизни не была бы посвящена поэзии и особенно не была бы посвящена стихотворству, хотя, конечно, очень трудно гадать о недоконченной жизни. С достаточным правом во всяком случае можно предполагать, что если бы Пушкин прожил ещё десять-двадцать лет, — то плеяда талантов, которых в русской литературе вызвал его гений, соединилась бы под его руководством в этом широко и задолго задуманном журнале. И история нашего развития общественного была бы, вероятно, иная, направлялась бы иными путями. Гоголь, Лермонтов, Белинский, Герцен, Хомяков, позднее Достоевский пошли вразброд. Между ними раскололось и общество. Все последующие, после Пушкина, русские умы были более, чем он, фанатичны и самовластны, были как-то неприятно партийны, очевидно, не справляясь с задачами времени своего, с вопросами ума своего, не умея устоять против увлечений. Можно почти с уверенностью сказать, что, проживи Пушкин дольше, в нашей литературе, вероятно, вовсе не было бы спора между западниками и славянофилами, в той резкой форме, как он происходил, потому что авторитет Пушкина в его литературном поколении был громаден а этот спор между европейским Западом и Восточной Русью в Пушкине был уже кончен, когда он вступил на поприще журналиста. Между тем сколько сил отвлек этот спор и как бесспорны и просты истины, им добытые долговременною враждой! Но отложим гадания, признаем бесспорное.

Путь, пройденный Пушкиным в его духовном развитии, бесконечно сложен утомительно длинен. Наше общество — до сих пор Бог весть где бы бродило, может быть, между балладами Жуковского и абсентеизмом Герцена и Чаадаева, если бы из последующих больших русских умов каждый, проходя ещё в юности школу Пушкина, не созрел к своим 20 годам его 36-летнею, и гениальною 36-летнею, опытностью. И так совершилось, что в его единичном, личном духе Россия созрела, как бы прожив и проработав целое поколение.

1899 год